**АЛЛА МАРЧЕНКО**

**“С ней уходил я в море...”**

**Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования. Окончание**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Опубликовано в журнале:**[**«Новый Мир» 1998, №9**](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1998/9/)

***ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ***

**АЛЛА МАРЧЕНКО**

**“С НЕЙ УХОДИЛ Я В МОРЕ...”**

***Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования***

**Часть вторая**

**ТАЙНА ТАЙН**

**У**становка на *расследование* предполагает, что “определение” будет оглашено в конце, но я все-таки начну вторую часть статьи с итогового вывода — чтобы облегчить читателю слеженье за сцеплением фактов.

Знаменитый ахматовский триптих 40 — 60-х годов (“Пора забыть верблюжий этот гам...”, “И в памяти черной пошарив, найдешь...”, “Он прав — опять фонарь, аптека...”) — это и три жизни Блока, и три эпохи воспоминаний Ахматовой об их невстрече.

С молодым Блоком, периода “Осенней воли” (“И помнит Рогачевское шоссе / разбойный посвист молодого Блока”), А. А. увидеться не пришлось; в него гимназистка Аня Горенко была, судя по всему, слегка, воздушно, влюблена, “как сто тысяч таких в России”.

К подножию памятника (“Как памятник началу века / там этот человек стоит”) положила вышеназванный триптих: дар восхищения.

Что же касается отношений с “трагическим тенором эпохи”, то есть с тем Блоком, который осенью 1911 года на учредительном собрании “Цеха поэтов” попросил Гумилева представить его своей жене, то они настолько причудливы, что можно только подивиться изобретательности Ахматовой; после многих попыток подобрать похожие слова А. А. сказала так: книга, которая могла бы называться “Как у меня не было романа с Блоком” (ЗКА, стр. 670).

Припомним: Анна Ахматова отрицала, что в “Вечере” и “Четках” есть любовные стихи, тайно обращенные к Блоку, а ей не верили. Даже люди ближайшего окружения. С. Волков в диалогах с Иосифом Бродским (“Вспоминая Ахматову”) утверждает: к сотворению романтической легенды Ахматова сама “приложила руку”, для того, чтобы убедиться, “достаточно перечитать ее стихи”, — ну а Иосиф Бродский, хотя и слышал от А. А., что легенда эта — “народные чаяния”, Волкову не возражает. По всей вероятности, и В. М. Жирмунский не на “народные чаяния” ориентировался, когда властью своего авторитета к ахматовской “блокиане” присоединил две любовные миниатюры: “Безвольно пощады просят...” и “Покорно мне воображенье...”. Словом, впечатление такое, будто А. А. опять слукавила. Думается, однако, что и в данном случае все было намного сложнее.

Ахматова строго отличала стихи узкобиографически обращенные к тому или иному лицу от вещей, написанных хотя и *по личным мотивам,* но *об общем быте.* (К примеру, составляя для П. Лукницкого список стихов, посвященных Гумилеву, назвала всего шесть, хотя их фактически гораздо больше.) Характеризуя свой способ *выращивания* стиха из пестрого мусора общежития, она писала: “Я не даю сказать ни слова никому (в моих стихах, разумеется). Я говорю от себя, за себя все, что можно и чего нельзя. Иногда в каком-то беспамятстве вспоминаю чью-то чужую фразу и превращаю ее в стих” (ЗКА, стр. 476).

Из-за желания говорить *от себя* бог знает что возникали и продолжают возникать недоразумения. М. Л. Лозинский, редактировавший “Белую стаю”, отказался включать в сборник стихотворение “Земная слава как дым...”. Можно представить себе доводы редактора. Стихи датированы 1914 годом, автору нет и двадцати пяти. Как тогда прикажете понимать такое: “Любовникам всем моим / Я счастие приносила. / Один и сейчас живой... И бронзовым стал другой / На площади оснеженной...”? В минувшем, 1913 году в России поставлен лишь один памятник — адмиралу Макарову. Вы что же, хотите, чтобы славного флотоводца заподозрили в совращении малолеток?1

Это во-первых. Во-вторых: от стихов Блока *в те баснословные года* и впрямь “теряли голову”; головокружение было не только массовым, но еще и обоюдополым. Старших современников безумие “блокослужения” и “блококружения” шокировало. И. Анненский, которого Ахматова считала своим Учителем, оставил в бумагах уничижительную реплику:

Под беломраморным обличьем андрогина  
Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез.  
Стихи его горят — на солнце георгина,  
Горят, но холодом невыстраданных слез.

Наблюдение “Учителя”: “обличье андрогина” — не памятью, а в *каком-то беспамятстве* превращено в двуликий образ Блока в “Поэме без героя”: “Демон сам с улыбкой Тамары”. Наискосок учтено оно (“радость давних грез”) и в “Четках”, где “трагический тенор” — один из героев времени, условный театральный “король”, образ которого играет свита его “незнакомок”, “астральный” шлейф из “звезд десятой величины с неопределенной орбитой”, по хлесткому определению самого Блока. Для того чтобы разыграть мистерию блокослужения, Ахматовой не нужен был обыкновенный роман с Блоком. Наоборот. Нужно, чтобы такого романа как раз и не было. “Есть в близости людей заветная черта, / ее не перейти влюбленности и страсти” — А. А. в отношениях с людьми шагнуть за эту “заветную” — запретную! — черту как раз и тянуло...

В-третьих. Узкобиографический сюжет: “Как у меня не было романа с Блоком” — для Ахматовой, “отстаивающей себя”, род плацдарма (“поле моего сраженья”), на котором давался бой тем, кто наряжал ее Музу в лиловеющие шелка женской любви и в кружева любовной печали, поэтому и утверждала, что *сплетня* возникла в воображении неосведомленных людей, пришедших в литературу из провинции в 20-х годах; не зная реалий миновавшего века, они строили заключения на “основании” стихов, а главное, “*хотели* видеть” их посвященными Блоку (подчеркнуто Ахматовой).

Доля истины тут есть. Напомню, что даже Э. Герштейн, филолог, архивист, свой человек в семье А. А., признается, что не понимает “тогдашнего характера любовных отношений” и что 10-е годы для нее “отдаленней, чем Пушкин”. И тем не менее раздражающая А. А. “людская молвь” зародилась не в 20-е годы, и Ахматова не могла этого не знать, ибо ей было известно письмо матери Блока, она пересказывает его в “Записных книжках” (стр. 671).

Вот полный текст этого письма:

“Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и нежную... И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первых:

Слава тебе, безысходная боль, —  
Умер он — сероглазый король.

Вот можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок. А Саша опять полюбил Кармен”.

Ахматова, похоже, была убеждена, что Александра Андреевна, лично с ней не знакомая, излагает историю печальной девушки, которая “протягивает руки” к ее жестокосердному сыну, а он от нее “отвертывается”, со слов самого Блока (не исключено, что именно по данной причине эта версия ее и раздражала). Между тем у источника романтической легенды стоял не герой мнимого романа, а, судя по всему, А. В. Тыркова-Вильямс. В те месяцы Ариадна Владимировна часто бывала в семье Блоков (она занималась издательской деятельностью). Госпожа Тыркова язык за зубами держать умела, и А. А. это знала. В автобиографических набросках зафиксирован такой эпизод: “Ариадна Владимировна Тыркова... Ей Блок сказал что-то обо мне, а когда я ему позвонила, он сказал по телефону (дословно): „Вы, наверное, звоните, потому что от Ариадны Владимировны узнали, что я сказал ей о вас”. Сгорая от любопытства, я поехала к Ар. Вл. (в какой-то ее день) и спросила: „Что сказал Блок обо мне?” АВ ответила: „Аничка, я никогда не передаю моим гостям, что о них сказали другие””.

Но одно дело — сплетни и совсем другое — задушевный разговор в семейном кругу... Ариадна Владимировна, одна из многочисленных симпатий А. А. Горенко (отец Ахматовой, плененный элегантностью госпожи Тырковой, нарек ее “Ариадной Великолепной”), знала Анну с детства, восхищалась и внешностью А. А., и стихами, и ей, видимо, было досадно, что Блок не обращает должного внимания на девочку ее выбора. Во всяком случае, ее рассказ об отношении Блока к А. А. почти дословно совпадает с версией А. А. Кублицкой-Пиоттух: “Из поэтесс, читавших свои стихи в Башне, ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Тоненькая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану... темные волосы... на затылке подхвачены высоким испанским гребнем... Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знающей себе цену. А перед Блоком Анна Ахматова робела. Не как поэт, как женщина. В Башне ее стихами упивались, как крепким вином. Но ее... глаза искали Блока. А он держался в стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее, вряд ли даже слушал. Сидел в соседней, полутемной комнате”.

На самом деле отношения и Блока к Ахматовой, и Ахматовой к Блоку не укладываются в простенькую и банальную схему, какою две интеллигентнейшие дамы, соотнеся непонятную им ситуацию с нравами своей юности, их себе объяснили (Тыркова была старше А. А. на двадцать лет, то есть на целую эпоху).

Во-первых, Блок слушал выступления Ахматовой нельзя прилежней, о чем свидетельствует уже известная нам запись в его “Дневнике” (1911, 7 ноября): “Анна Ахматова *читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше*”. Во-вторых, живого Блока А. А. увидела еще весной 1911 года, в редакции “Аполлона”, однако на предложение сотрудников журнала познакомить ее с поэтом ответила отказом. И это понять можно: Лермонтов тоже не хотел знакомиться с Пушкиным, хотя тот запросто бывал в доме его родственников. Вторая встреча произошла осенью. Ахматова и на сей раз горячего желания обратить на себя внимание знаменитого современника не обнаруживала. Да, робела, но не только перед Блоком. К. Чуковский, наблюдавший А. А. в ту осень, запомнил ее тоненькой и робкой девочкой, ни на шаг не отходящей от своего мужа. И тогда Блок, привыкший к тому, что молодые поэтессы, а их в 10-е годы расплодилось несметное множество, только и делали, что пытались с ним познакомиться, сам подошел к Гумилеву и попросил представить его Анне Андреевне...

Новобрачная Гумилева скоро научилась скрывать и застенчивость, и “провинциальную необразованность”, взяв за правило “хранить молчанье в важном споре”, прикрываясь, как веером, улыбкой, почти “джокондовской”: “У меня есть улыбка одна: / Так, движенье чуть видное губ”. Тогда же выбрала и пару эффектных статичных поз (“в позе, выбранной ею давно”). В одной из затверженных поз увековечили Ахматову, независимо друг от друга, но по занятному совпадению чуть ли не одновременно, и Мандельштам: “Вполоборота — о печаль!..” (6 января 1914-го) — явно-открыто, в “Бродячей собаке”, и “скрытой камерой” Блок: “Вполоборота ты встала ко мне” (2 января 1914 года). Ту же поэтофотку, как самый удачный свой портрет тринадцатого года, Ахматова вклеит в “Поэму без героя”: “И как будто припомнив что-то, / Повернувшись *вполоборота*, / Тихим голосом говорю...”

Декоративные “укрепления” духа — позы, улыбки, шали, испанские гребни и африканские браслеты — хорошо смотрелись издалека, условно, с эстрады. А вот при общении с глазу на глаз становились слегка смешными, хуже того — провинциальными. От провинциальных выходок Ахматова долго не могла избавиться; ее легендарное комильфо далось ей не сразу. М. Н. Остроумова не без удивления вспоминает первую встречу с женой Гумилева: “Через пять минут после нашего знакомства она сказала мне: „Посмотрите, какая я гибкая”. Я была поражена, когда мгновенно ноги ее соприкоснулись с головой. Непосредственно после этого она прочла свое стихотворение „Змея””. Подобные фокусы А. А. проделывала и в “Бродячей собаке”, и в Башне, восхищая поклонников и раздражая недоброжелателей. Л. С. Ильяшенко-Панкратова, исполнительница роли Незнакомки в блоковском спектакле В. Мейерхольда, вспоминает: “С Ахматовой я встречалась только в „Бродячей собаке”... Разойдясь, Ахматова показывала свой необыкновенный цирковой номер. Садилась на стул и, не касаясь ни руками, ни ногами пола, пролезала под стулом и снова садилась. Она была очень гибкой”. Не исключено, что и в “Собаке” “непосредственно после этого” читалась все та же “Змея”:

В комнате моей живет красивая  
Медленная черная змея;  
Как и я, такая же ленивая  
И холодная, как я.

Блок в “Бродячей собаке” не бывал из принципа, считал ее чем-то вроде “игорного дома в Париже сто лет назад”. Но Любовь Дмитриевна захаживала, так что о том, что происходило в подвальчике, со слов жены знал, с ее слов и мнение составил. А уж про змеиные проделки примадонны “собачьего” кабаре и тем паче.

Открытие “Бродячей собаки” приурочили к новогодним праздникам 1912 года. 13 января Ахматова читала там стихи. В феврале Блок окончил начатое еще осенью 1911-го “О, нет! Я не хочу...”, обращенное, видимо, к Н. Н. Скворцовой. В письме к матери (март 1911 года), сообщив, что к нему приехала из Москвы Скворцова, Блок так описывает двадцатилетнюю претендентку на его сердце: “Во всем до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду и говорит все, как должна говорить Гильда” (Гильда — главный женский персонаж пьесы Ибсена “Строитель Сольнес”). Так вот, в этом стихотворении есть не связанная ни с сюжетным движением, ни с образом героини фраза: “Но твой змеиный рай — бездонной скуки ад”. Естественно, я не утверждаю, что брезгливая сентенция впрямую связана со змеиными упражнениями Ахматовой. Блок, как и она, был мастер делать несколько снимков на одну пластинку. Не думаю, что и она была настолько наивна, чтобы прочитывать подобные сообщения как именно к ней, персонально, обращенные. Но то, что Александр Александрович и к ее стихам, и к ней лично относится со скрытым и напряженным раздражением, очень даже чувствовала, и не умом-разумом, а кожей, женским инстинктом, оттого, видимо, и тушевалась в его присутствии.

Впрочем, для некоторого смущения в присутствии Блока осенью 1911 года у А. А. были причины. В 1927 году, специально для Лукницкого, чтобы уточнить дошедшие до него слухи, Ахматова, поразив откровенностью юного своего “эккермана”, перечислила имена мужчин, с которыми была близка. Ни Модильяни, ни Блока в этом “донжуанском списке” нет. (Модильяни упомянут в числе тех, с которыми у А. А. “ничего не было”.) Зато есть Георгий Чулков. Согласитесь: для улучшения биографии это отнюдь не самая удачная фигура. Одно дело — молодой, безрассудный, в богемном стиле парижский роман с почти нищим художником и совсем другое — связь с маститым литератором, живущим по соседству в Царском Селе, с волокитой, известным всему Петербургу, а главное, постоянным спутником Блока в “жизни безбытной, уличной и хмельной”. Чулков, кстати, ни от кого не скрывал, что поэт ценил его за то, что с ним единственным мог говорить “не по-интеллигентски”, то есть по-мужски грубо, “за красным стаканом в таверне”. К тому же Чулков был первым, кто обратил внимание на Анну Гумилеву не как на подающую надежды поэтессу, а как на интересную незнакомку. Произошло это, судя по климатическим деталям, ранней осенью 1910-го, вскоре после отъезда Гумилева в Африку. “Однажды на вернисаже выставки „Мира Искусства”, — с удовольствием вспоминал Чулков, — я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками „Аполлона”, которая стояла перед картинами Судейкина. Меня познакомили... Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил дождь... У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она была похожа на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло... Я предложил этой молодой даме довезти ее до вокзала: нам было по дороге... Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда... Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год”.

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что стихотворение “Мне с тобою пьяным весело...”, которое комментаторы считают посвященным Модильяни, написано в связи с парижской встречей с Георгием Ивановичем за стаканом красного вина в таверне. Кстати, Ахматова решительно отводила кандидатуру Модильяни, утверждая: а) что пьяным его не видела, в кафе или ресторане с ним никогда не была; б) что стихов ему не писала (какой смысл писать русские стихи иностранцу, по-русски не разумеющему?); в) что отношения были церемонными и обращение на “ты” исключающими; г) что хотя стихи об амурных беседах “через столик” с неким беспутным господином записаны в Париже, ранним летом, ей почему-то представлялись царскосельские осенние вязы. Добавим: “мука жалящая вместо счастья безмятежного” — мотив из репертуара Блока — Чулкова. Да, в Париже Чулков был не один, а с женой, но Надежда Григорьевна смотрела на перманентные любовные связи мужа со спокойной снисходительностью: дескать, ничего не поделаешь — это у Чулковых фамильное2.

Вдобавок ко всему Чулков славился тем, что с “неистовым энтузиазмом” продвигал новые дарования в печать. Все это в совокупности явно “не украшало” биографию начинающей поэтессы... И тем не менее А. А. не скрыла связь с ним от Лукницкого, а значит, и от “поздней оценки”. Она вообще не терпела, когда из нее пытались сделать даму безупречную во всех отношениях:

Оставь, и я была как все,  
И хуже всех была,  
Купалась я в чужой росе,  
И пряталась в чужом овсе,  
В чужой траве спала.

Короче, на какой бы стадии отношений с Чулковым ни застало А. А. знакомство с Блоком осенью 1911 года, она не могла быть уверена, что Георгий Иванович не говорил о ней с напарником по приключениям с “незнакомками”. И думается, была права. Вот что рассказала Ахматова Лукницкому: “В то время была мода на платье с разрезом сбоку, ниже колена. У нее платье по шву распоролось выше. Она этого не заметила. Но это заметил Блок” (ПНЛ, т. 1, стр. 59). Вряд ли бы Блок позволил себе “заметить” непозволительно смелый разрез, если бы не был наслышан о парижских приключениях “косящей” под робкую девочку мадам Гумилевой. Не исключено, что тем же мужским экспериментаторским любопытством объясняется и его предложение А. А. прочитать на вечере на Бестужевских курсах довольно рискованное (для первого выступления в большой женской аудитории) “Все мы бражники здесь, блудницы...”. В автобиографических набросках Ахматова к этому стихотворению сделала примечание: дескать, это стихи капризной и скучающей девочки, а вовсе не заматеревшей в бражничестве “блудницы”. Догадывался ли об этом Александр Александрович? По всей вероятности, вопрос, хотя и “праздный”, и после намеков Чулкова, и после испытания эстрадой оставался, как говорится, открытым... Ахматова “начинала волновать” Блока, но вовсе не так, как волновали роковые женщины его эротического выбора или прекрасные дамы его мечты, а так, как художника волнует не поддающаяся ему модель — материал, сопротивление которого он не в состоянии преодолеть. К тому же к осени 1913-го Блок, и, может быть, на том самом вечере на Бестужевских курсах (эстрада обнажает!), инстинктом охотника (“за молодыми, едва распустившимися душами”?) почуял: в хорошенькой провинциалке появилось нечто новое — несвойственный ей прежде “задор свободы и разлуки”.

Ахматова и впрямь к этому времени эмансипировалась. Во-первых — от тайного страха, что успех “Вечера” случаен, что второй, главной, книги не будет, что замужество, беременность, роды, беспокойство за младенца изменят самый состав ее существа и стихи пропадут, внезапно и непонятно, — пришли ниоткуда и уйдут в никуда. Страх оказался напрасным: меньше чем за год она собрала новую книгу. Во-вторых, как мать “наследного принца”, она, странная, худая и горбоносая, случайная невестка, перестала быть безнадежно “чуждым элементом” в глазах умной и властной свекрови. А главное, выпуталась из ловушки, в которую угодила отчасти по неопытности, отчасти по ложному расчету. Гумилев, так долго — без малого семь лет! — и так красиво игравший роль влюбленного *рыцаря бедного*, оказался элементарным “юбочником”. До официального развода (в 1918 году) это щекотливое обстоятельство по взаимному договору чета Гумилевых тщательно скрывала, да и потом А. А. на этот счет помалкивала, но Лукницкому все-таки призналась, что “НС никогда физически верен не был никому, что он не мог этого и не считал нужным”. Вдобавок супруг заделался еще и оголтелым бродягой: не успели вернуться из свадебного путешествия — удрал в Африку; первый замужний Новый год новоженка Гумилева встречала соломенной вдовушкой. Впрочем, молодую свою “полуброшенность” Ахматова вспоминала с удовольствием: она обязана была ей “Вечером”, на котором в начале “плодоносной осени” сделала такую надпись: “Он не траурный, он не мрачный, / Он почти как сквозной дымок, / Полуброшенной новобрачной / Черно-белый легкий венок. / А под ним тот профиль горбатый / И парижской челки атлас, / И зеленый продолговатый / Очень зорко видящий глаз”.

За “Вечер”, с лихвой окупивший все ее женские утраты, и простила блудного мужа. *Телесность* в отношениях между мужчиной и женщиной ей никогда не представлялась самым главным. Вот как про это записано у Лукницкого: “Не любит телесности. Телесность — проклятье земли. Проклятье — с первого грехопадения, с Адама и Евы... Телесность всегда груба, усложняет отношения, лишает их простоты, вносит в них ложь, лишает отношения их святости... Чистую, невинную, высокую дружбу портит...” (ПНЛ, т. 2, стр. 287). Увы, и в отношении высокой, чистой и невинной дружбы Гумилев оказался не тем: бестелесно, свято, высоко, без надежды на взаимность влюбился в смертельно больную кузину, засыпал ее романтическими цветами и даже, как донесла семейная служба новостей, сделал официальное предложение. При живой жене, на глазах у родственников, через год после их свадьбы. И чем бы все это кончилось, неизвестно, если бы Машенька Кузьмина-Караваева не сгорела от скоротечной чахотки... Это кончилось — началось другое. Весной неугомонный Николай Степанович вновь укатил в свою Африку. Воспользовавшись его отсутствием, Анна Ивановна взялась за генеральную уборку, а невестку попросила разобраться в мужниных бумагах. А. А. просьбу свекрови исполнила и, наводя порядок на *Колином* письменном столе, выудила из вороха рукописей увесистую связку женских любовных писем.

То ли эти чуть ли не демонстративно брошенные письма, то ли появление на свет той же осенью Левушкиного единокровного братца, то ли все вместе взятое — нет худа без добра — и освободило внутренне до болезненности *совестливую* (тонкое наблюдение Лукницкого) А. А. И от смущавшего душу чувства вины перед Колей: за то, что без страстной любви под венец шла и что невинность для него, единственного, не хранила... И от брачных уз, и от опрометчиво данных клятв. Потом все это вернется, но потом... после всего... А пока она вновь, как в диком своем детстве, “была дерзкой, злой и веселой”.

Словом, Ахматовой в осень 1913-го было хорошо, потому что чем хуже ей было, тем лучше становились стихи. А Блоку было плохо, и чем хуже было ему, тем хуже, мертвее и суше, делались его “песни”. Он даже перестал пытаться их писать. Стал дотягивать старые, застрявшие в черновиках. А так как к осени 1913 года уже решил (после летних эстрадно-испанских очарований): ежели распишется, то писать будет только про испано-цыганское, — то и расписываться начал с переделки набросков, сделанных пару лет назад с цыганской своей зазнобы Ксюши. И хотя делать это, по собственному выражению, *слишком умел,* из *умения* выходили лишь рифмованные и нерифмованные строчки. Чтобы получились стихи, надо было *оживить* “законсервированные” в черновиках переживания. “Искусство, — писал Блок 6 марта 1914 года, — радий (очень малые количества). Оно способно радиоактировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, „переживания”, чувства, быт. Радиоактированию поддается именно *живое,* следовательно — грубое, *мертвого просветить нельзя*”.

Позапрошлогодняя цыганщина “радиоактированию” не поддавалась. И тогда он сместил “видоискатель” и на старую пластинку от 3 июля 1911 года (“На Приморском вокзале цыганка дала мне поцеловать свои длинные пальцы, покрытые кольцами”) сделал еще один снимок: откинутые назад плечи и невероятные мавританские браслеты, которые вез и вез своей похожей то ли на испанку, то ли на испанскую гитану жене “африканец” Гумилев...

Про автомобиль, на котором Блок провожал ее, после их совместного, с участием Игоря Северянина, второго (в 1914 году) вечера на Бестужевских курсах, А. А. охотно рассказывала, а вот о том, как и на чем добирались они до дома после вечера первого, верхарновского, 25 ноября 1913 года, промолчала. Не думаю, однако, чтобы Блок отпустил молодую женщину — в ночь, темноту, непогодь, да еще и зная, что это ради него она не пошла с Гумилевым в модный и дорогой ресторан, где столичный бомонд угощал осчастливившего литературный Петербург Верхарна глухарями да рябчиками... Во всяком случае, написано “Седое утро” всего через три дня после их позднего прощания под позднеосенним мокрым снегом. При первой публикации в “Седом утре” было еще одно четверостишие, оставшееся от первоначального, конкретно-цыганского варианта: “Любила, барин, я тебя... Цыганки мы — народ рабочий...” Но потом Блок его вымарал — уж очень не вязалось с характером и даже типом изображенной здесь женщины, вполне светской и только играющей под цыганку:

Как мальчик, шаркнула; поклон  
Отвешивает... “До свиданья...”  
И звякнул о браслет жетон  
(Какое-то воспоминанье)...

Что-что, а уникальные — во всем Петербурге таких не было — браслеты А. А. были сплошь с “воспоминаньями”: при каждой размолвке с Гумилевым она их ему возвращала, а он пугался: “Не отдавайте мне браслеты...”

По всей вероятности, в тот ненастный ноябрьский вечер Анна Андреевна и была приглашена “к поэту в гости”.

Блок, как правило, педантично отмечал, кто, когда и по какой надобности появлялся в его крайне замкнутом доме. В случае с А. А. ее биографам крупно не повезло: все дневниковые записи, относящиеся к осени и началу зимы 1913 года, поэт уничтожил. Сама же Ахматова, когда ее расспрашивали о подробностях, говорила (а потом и писала), что ей запомнилось лишь одно любопытное для “оценки поздней” высказывание: “Я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что он, Блок... мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: „Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой””.

И эта криптограмма до сих пор не расшифрована... А между тем она крайне важна для понимания сущности отношений Поэта и Поэтессы. Поставив себя в один ряд с Толстым, и не в шутку, а вполне серьезно, Блок сразу же установил дистанцию, что начисто исключало возможность не только диалога на равных, но и вообще дружеского общения: А. А. думала, что приглашена в гости пусть и к знаменитому, но современнику, а ее встретил чуть ли не “памятник”.

О морозном воскресенье 15 декабря 1913 года, и тоже только со слов Ахматовой, известно еще и то, что уходя она оставила Блоку его сборники — “чтобы он их надписал”. На каждом поэт написал просто: “Ахматовой — Блок”. А вот в свой третий том лирики вписал сразу после ее ухода сочиненный мадригал: “„Красота страшна”, — Вам скажут...”3.

Л. К. Чуковская как-то призналась Ахматовой, что не понимала раньше, до ее рассказов о не-романе с Блоком, стихотворения “„Красота страшна”...”. А. А. ее утешила: “„А я и сейчас не понимаю. И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так”, — она сделала ладонями отстраняющее движение: „не тронь меня””.

А. А. несправедлива. В стиле “не тронь меня” написан отзыв Блока на “Четки”, об этом ниже. Портрет же Ахматовой в испанской шали, хотя и смахивает на эскиз театрального костюма, особенность ее поведения — сочетание внешней декоративности облика и внутренней простоты — все-таки фиксирует...

Впрочем, ничего нового “романсеро” ей не открыло. Александр Александрович по-прежнему воспринимал ее как красивую женщину, которая, притягивая, не притягивала достаточно сильно, а вовсе не как “крупного поэта”. Этот ракурс осенью — зимой 1913/14 года Ахматову решительно не устраивал. Ахматова знала, что *после смерти им стоять почти что рядом,* она все про себя знала наперед, а Блок и мысли такой не допускал. Так и ушел в уверенности: жена акмеиста Гумилева — всего лишь одна из претенденток на открывшуюся на театре русской поэзии вакансию: лирическое сопрано (голос несильный, тембр приятный, школы никакой, для большой сцены не годится, для эстрады сойдет и даже будет иметь успех — при нынешней желтой, вульгарной моде на раздушенные перчатки и шляпы с перьями).

Надо также принять во внимание, что минимум три грации из окружения Анны Ахматовой могли похвастаться тем, что удостоились особого внимания Блока4, и в том же кругу не было ни одного человека, кого бы Блок отметил своей дружбой. Вл. Пяст свидетельствует: “Многие мои друзья... очень интересные и достойные во всех отношениях люди, с трудом, по большей части даже с полной безуспешностью добивались разрешения на общение с ним”.

Короче, в ситуации 1913 года добиваться (и соблазнять!) Александра Александровича как “аматера на час” было уже достаточно вульгарным. Иное дело — оказаться в числе немногих избранных, кто был допущен к общению! При таких больших ожиданиях явление тени графа Толстого было для А. А. обескураживающим. Однако ж и Блок в явившейся точно в назначенный срок визитерше не узнал облюбованную модель: капризная, не без вульгарности змейка, работавшая под гитану, осталась где-то там, внизу, на углу Мойки и Пряжки. А эта — в дверном проеме — была слишком проста (“красота проста — вам скажут”), а если и сквозило в ней что-то не петербургское, южное, то опять-таки в слишком уж простом, балаклавском варианте, что-то от прямых, высоких, длинноносых причерноморских гречанок, так трогательно похожих на византийских мадонн. Но этот тип, пленявший Куприна, “голландцу” Блоку был чужд и даже неприятен; как художнику ему нечего с ним было делать.

Короче, разочарование и вызванное им замешательство было обоюдным, и Блок воспользовался давно отработанным для приходящих с улицы либо *по записке* начинающих поэтов сценарием. Ритуал подобного приема известен нам по воспоминаниям и Р. Ивнева и Н. Павлович и по рассказам Есенина. Не умевший и не любивший проявлять себя в разговоре, Блок сначала предлагал визитерам что-нибудь почитать, затем следовало предложение рассказать о себе, и так как хозяин молчал и только смотрел ясно и просто, юные дарования переставали смущаться.

Ивнев: “Мы прошли через две комнаты в третью... Блок не задал мне ни одного трафаретного вопроса... и вышло как-то естественно, что я без всякого прямого вопроса... рассказал *почти всю свою биографию.*..”

Павлович: “Блок позвал меня в свой маленький кабинет... увидел, что я побледнела, подошел и спросил, что со мной. Внимательно посмотрел на меня, понял и тихонько сказал: „Отдыхайте! Не торопитесь никуда и рассказывайте мне о себе”. *И я рассказала ему все самое главное, внутреннее, важнейшее, как можно рассказывать только самому близкому человеку*. Сидела я у него до часу ночи”.

Ивнев был *на приеме* у Блока в 1909 году, Павлович — одиннадцать лет спустя, но сценарий приема не изменился, и у нас нет оснований предполагать, что он был изменен 15 декабря 1913 года: сначала стихи, немного, потом — “Рассказывайте о себе...”. Что А. А. могла рассказать о себе, чего бы Блок и о ней, и вообще не знал? Была, впрочем, одна тема, которую и он и она могли обсуждать хоть “до часу ночи”: Блок, как и Ахматова, по-детски страстно-застенчиво любил море. Когда дочери его друга Евгения Иванова исполнилось два года, он подарил крестнице игрушку — большой корабль. Павлович, приводя этот факт, добавляет: “Надо знать все пристрастие Блока к морю и кораблям, чтобы оценить выбор именно этого подарка — вот уж от полноты сердца” (“Блоковский сборник”. Тарту, 1964, стр. 465; кстати, эту книгу Ахматова успела прочесть, и не в награду ли за морское воспоминание и была вручена этой вовсе не симпатичной ей персоне заветная реликвия — портсигар Блока?5).

Павлович принадлежит и следующее наблюдение: “Сам Блок почти по-детски любил все, связанное с морем. Он часто рисовал корабли. У него был альбом, куда он наклеивал различные картинки, снимки, заметки. Больше всего там было кораблей” (там же, стр. 480).

Но: по-детски любя море вообще, Блок никогда не видел моря Черного; вот уж где А. А. могла развернуться и выложить все-все: и про свое второе, дикое, языческое херсонесское детство, и про приморскую юность, и про дружбу с лихими балаклавскими листригонами, и про камень в версте от берега, до которого восьмилетней пацанкой доплывала, и наверняка про шесть верещагинских миноносцев не забыла ввернуть — ведь этот эпизод так поразительно красиво рифмовался с его, Блока, воспоминаниями о миноносцах французских: один миноносец и четыре миноноски в сонной курортной бухте Бретонского побережья, — но блоковские военные корабли ни с чем для сердца русского не сливались, а за ее *кильватерной колонной* желто и страшно взрывался броненосец “Петропавловск”!

Прикинувшись солдаткой, выло горе,  
Как конь, вставал дредноут6 на дыбы,  
И ледяные пенные столбы  
Взбешенное выбрасывало море  
До звезд нетленных из груди своей,  
И не считали умерших людей...

Словом, несмотря на тень великого старца, чуть было не омрачившего малиновое воскресенье, беседа и состоялась, и запомнилась, о чем А. А. и уведомила Блока7, едва до нее дошли подписанные ей сборники (5 или 6 января 1914 года).

А кроме того, в ходе “беседы”, видимо, прояснилось, что имел в виду Блок: в декабре 1913 года, когда он попробовал вернуться к отложенному “Возмездию”, стал составлять планы нового варианта огромной поэмы — о судьбе одного дворянского рода — и начал, как и Толстой при работе над “Войной и миром”, “уточнять” семейные предания, изучая и конспектируя исторические документы, Толстой действительно очень сильно ему *мешал*. Зашел, похоже, и разговор о поэме как жанре, о том, какой должна быть современная поэма.

Во всяком случае, 15 января А. А. возвращалась от “морских ворот Невы” явно в воодушевлении и с твердым намерением попробовать свои силы в эпическом жанре. Может быть, тогда же, в то же воскресенье, зазвучал один из самых ранних в ее поэзии эпических мотивов: “Смеркается, и в небе темно-синем...” Уж очень, и по деталям, и по эмоциональному настрою, этот отрывок совпадает с “Я пришла к поэту в гости...”. Это как бы описание ее пути (туда — в полдень: от Тучкова переулка к строгому и высокому дому на углу Мойки и Пряжки — и обратно, на закате!).

*Смеркается,* и в небе темно-синем,

Где так *недавно* храм Ерусалимский  
Таинственным сиял великолепьем,  
Лишь *две звезды* над путаницей веток...

Прогулка (“мне странною в тот день была прогулка”) — с Офицерской улицы до Васильевского острова — минимум сорок минут спорым шагом; так что выйдя “из гостей” еще засветло, на закате “малинового солнца”, А. А. добралась до “Тучки” уже в сумерках. Чтобы отважиться на такое путешествие в мороз (“а на улице мороз”), ей, мерзлячке, надо было находиться в особо приподнятом настроении. Но так, похоже, и было:

И я подумала: не может быть,  
Чтоб я когда-нибудь забыла это.  
И если трудный путь мне предстоит,  
Вот легкий груз, который мне под силу  
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,  
Быть может, в нищете — припоминать  
Закат неистовый, и полноту  
Душевных сил, и прелесть милой жизни.

(Концовка дописана в 1940-м, то есть уже на “пороге старости”, в “нищете” и “болезни”.)

А через несколько дней А. А. получила бесценный — “что другие все дары” — новогодний подарок. Блок, как выяснилось из его письма от 18 января 1914 года, не через рассыльного, а сам, лично, принес ей подписанные книги, но, сообразив, что время позднее, передал пакет дворнику и при этом неверно назвал номер квартиры. Но не это было нечаянной радостью, а то, что Александр Александрович просил позволения: “Позвольте просить Вас позволить (именно так: “Позвольте позволить”! — *А. М.*) поместить в первом номере этого журнала (речь идет о журнале Мейерхольда “Любовь к трем апельсинам”. — *А. М.*) — Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам”.

В. А. Черных (“Переписка Блока с А. А. Ахматовой” — “Литературное наследство”. Т. 92, кн. 4, стр. 572) называет это церемонное послание “сухо-официальным” и “подчеркнуто деловым” и противопоставляет ему письмо от 26 марта того же года, написанное по получении “Четок”: “Письмо Блока Ахматовой от 26 марта значительно мягче и душевнее, чем его письмо к ней от 18 января”. Смею предположить, что реакция Ахматовой была прямо противоположной. На январское, церемонное и торжественное, как и следует меж поэтами (своего рода договор о сотрудничестве), предложение А. А. отозвалась удивительной открытостью, обмолвясь, заменила, в автографе, полагающееся по церемониалу *“Вы”* на дружеское и братское *“ты”*: “*От тебя* приходила ко мне тревога и уменье писать стихи”. А вот в отместку за отзыв на “Четки” при первом же удобном случае поставила Блока на место, о чем в свое время и сообщила К. И. Чуковскому: “Как-то мы с ним выступали на Бестужевских курсах... И вот, в артистической — Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: „Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах”. А я дерзкая была и говорю ему: „Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни...””

И “окаянство” Ахматовой, и смущение Блока станут понятнее, если прочитать отзыв Блока на “Четки” так, как могла и должна была воспринять его А. А. Тут нам придется задержаться и заняться арифметикой. Процитированное выше письмо матери Блока, Кублицкой-Пиоттух, датировано 29 марта 1914 года. Следовательно, если ввести в “меню” записку Блока к Ахматовой от 26 марта того же года, в которой он сообщает, что, получив 25 марта “Четки”, тут же, не читая, а только разрезав, передал их своей матери, а утром Александра Андреевна “взяла книгу и читала не отрываясь” (26 марта), следы неотрывного чтения в письме (от 29 марта) должны отпечататься. А их нет! Почему, якобы внимательно прочитав “Четки”, мать поэта цитирует стихи, датированные 1910 годом, тогда как могла бы отметить в только что прочитанной книге куда более веские доказательства того, что интересная поэтесса *готова любить ее сына?* По всей вероятности, письмо Александры Андреевны все-таки написано до чтения “Четок”. Заподозрить прямодушного Блока в дипломатической увертке как-то неловко, и тем не менее... отзыв, приписанный матери: “не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски подлинно”, — на самом деле — личное мнение Блока8, точнее, его первое, беглым взглядом зафиксированное впечатление (разрезать тонюсенькую, в 52 лирические пьесы, поэтическую книгу и сделать это аккуратно, а Блок был аккуратист, не “сфотографировав” в краткий миг ее образ, профессионалу невозможно, и захочешь — не получится).

Принято считать, что “охлаждение” Блока к Ахматовой (или, как иногда выражаются, к “образу Ахматовой”) связано с увлечением Л. А. Дельмас (так полагала и мать Блока — “А Саша опять полюбил Кармен”, — а может быть, и сама Анна Андреевна). Думаю, дело все-таки в другом. “Четки” как целое, как дамский любовный роман — до деталей (перчатки, экипажи, скомканные письма незнакомки и т. д.) совпали с тем типом отношений, какие упорно навязывала Блоку Наталья Николаевна Скворцова и от которых он действительно “отвертывался”9.

Впрочем, кислый отзыв Блока на “Четки” был воспринят, как уже отмечалось, весело и дерзко. А в июне Ахматова отправилась в Киев, куда по договоренности должен был приехать и Николай Недоброво. По всей вероятности, именно он и привез А. А. весенние номера “Русской мысли” с морскими стихами Блока10.

Недоброво, разумеется, ничего не заметил, но А. А. — услышала, не могла не услышать прямой отзвук, казалось бы, напрочь забытой Блоком “беседы” о море и кораблях, об их, одной на двоих, детской ко всему этому страсти: “Ты помнишь? В нашей бухте сонной / Спала зеленая вода, / Когда кильватерной колонной / Вошли военные суда”. И дальше, самое главное, искупающее и “безумный” портрет в стиле “не тронь меня”, и все прочее в том же духе: “Как мало в этой жизни надо / Нам, детям, — и тебе и мне”! В четвертом номере “Русской мысли” за 1914 год это — единственное стихотворение Блока, к тому же оно открывает номер; итальянский цикл появился в следующей книжке. Значит, *радиоактировать* полузадохнувшиеся морские сюжеты Блок начал именно с этого ее страстью к морю оживленного воспоминания?

Дождливый июнь 1914 года, от которого А. А. убежала в киевскую благодать, обернулся дикой июльской жарой. В начале того же июля в Кронштадт прибыла французская эскадра с президентом Франции Пуанкаре. Петербург вмиг офранцузился: лоточники нарасхват торговали французскими флажками, студенты, в обнимку с подвыпившими гостями, распевали “Марсельезу”, мастеровые меняли картузы на военные береты с помпоном, и все чем-то размахивали — флажками, платками, шляпами, солнечными зонтиками... Газетчики сквозь платок, накинутый на роток, проговаривались: дескать, братаемся и с французами и с англичанами неспроста, но обыватели газетчикам не очень-то верили. Какая тебе война? Орали, надрывая связки: “Ура! Вив ля Франс!”

Никаких дурных предчувствий не было и у А. А. Наоборот! Было ощущение полноты душевных сил, доверие к жизни и вера в то, что жизнь сама выберет тропу и даст знак. Так и случилось. “Летом 1914 г., — вспоминала Ахматова незадолго до смерти, — я была у мамы в Дарнице, в сосновом лесу, раскаленная жара... и про то, что через несколько недель мимо домика в Дарнице ночью с факелами пойдет конная артиллерия, еще никто не думал... В начале июля поехала к себе домой, в Слепнево. Путь через Москву... Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит — бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором вырастает Блок. Я от неожиданности вскрикиваю: „Александр Александрович!” Он оглядывается и, так как он вообще был мастер тактичных вопросов, спрашивает: „С кем вы едете?” Я успеваю ответить: „Одна”. И еду дальше... Сегодня через 51 год открываю „Записную книжку” Блока, которую мне подарил В. М. Жирмунский, и под 9 июля 1914 года читаю: „Мы с мамой ездили осматривать санаторию на Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде”. (Станция называлась Подсолнечная)”.

В 1914 году А. А. конечно же и мысли не могла допустить, что Александр Александрович, увидев ее в тамбуре почтового поезда, заподозрит заговор “нечистой силы”, однако сама восприняла встречу на станции Подсолнечная как некий вещий знак.

Летняя благодать. Золотой Киев. Софийские и московские колокольные звоны. Дни, полные гармонии. И эта чудесная встреча. Нет, Блок совсем не понял слова, которые она, не смея произнести вслух, написала на подаренных ему “Четках”: “От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи”... Пока ехала, сами собой, словно их кто-то и впрямь диктовал, сложились стихи, нет, не стихи, а моление. Молитвословие — как перед Богом!

И в Киевском храме Премудрости Бога,  
Припав к солее, я тебе поклялась,  *Что будет моею твоя дорога*. *Где бы она ни вилась*.  
  
То слышали ангелы золотые  
И в белом гробу Ярослав.  
Как голуби, вьются слова простые  
И ныне у солнечных глав.  
  
И если слабею, мне снится икона  
И девять ступенек на ней.  
И в голосе грозном софийского звона *Мне слышится голос тревоги твоей*.

(8 июля 1914 г.)11

10 июля Ахматова была уже в Слепневе. Вот теперь она уже точно напишет о своем Херсонесе, о дикой девочке, которая знает о море все, и напишет так, как хочет... Завтра! Но завтра уже была ВОЙНА.

Мы на сто лет состарились, и это  
Тогда случилось в час один:  
Короткое уже кончалось лето,  
Дымилось тело вспаханных равнин.  
  
Вдруг запестрела тихая дорога,  
Плач полетел, серебряно звеня...  
Закрыв лицо, я умоляла Бога  
До первой битвы умертвить меня.  
  
Из памяти, как груз отныне лишний,  
Исчезли тени песен и страстей.  
Ей — опустевшей — приказал Всевышний  
Стать страшной книгой грозовых вестей.

*Как груз отныне лишний* отодвинулся и замысел морской поэмы. Гумилев, проявив чудеса изобретательности (в первые дни войны освобожденных медкомиссией еще браковали), поступил добровольцем и именно туда, куда хотел: рядовым в лейб-гвардии уланский полк. И в эти же дни А. А. был дан еще один вещий знак — как бы указание, что она неправильно истолковала “приказ Всевышнего”: война не отменила *ни песен, ни страстей*.

В августе 1914 года Ахматова и Гумилев обедали на Царскосельском вокзале. И вдруг так же неожиданно, как и месяц назад на платформе Подсолнечная, над их столиком навис Блок. И хотя на этот раз ничего сверхъестественного в его появлении в неожиданном месте не было: Александр Александрович вместе с другом Евгением Ивановым обходил семьи мобилизованных для оказания им помощи, — Ахматова была потрясена. Наскоро перекусив, Блок попрощался. Проводив взглядом его прямую, в любой толпе одинокую и отдельную фигуру, Гумилев сказал: “Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев”.

Снарядив мужа в поход, пока еще не на передовую, а в Новгород, где стояли уланы, Анна Андреевна вернулась в деревню и почти набело, на одном дыхании, написала первые сто пятьдесят строк “У самого моря”. Она очень спешила, предчувствуя, что вернется не только в столицу другого государства, но и в другой век.

Поэма была отчаянной попыткой остановить “мгновенье”. А. А. хотела верить, что прощается только со своей херсонесской юностью! На самом деле она провожала полным парадом чувств целый мир...

27 апреля 1915 года Блоку был отослан оттиск поэмы “У самого моря”... Ну а дальше случилось то, что случилось. Получив весной 1916-го полуположительную рецензию на поэму “У самого моря” в форме письма к подающему надежды автору, А. А. решила, что Блок все забыл. Намертво. “Я сегодня не помню, что было вчера, / По утрам забываю свои вечера”... Но ей, *задуманной так надолго* (“Кто бы мог подумать, что я задумана так надолго?”), Бог дал долгую память. Долгую память и позднюю мудрость: не в том сила, что прошло, а что прошло, да было. Так ведь было? *“С ней уходил я в море, с ней покидал я берег”?*

Или все это было сном?

Л. К. Чуковская сумела сделать себе имя безукоризненной репутацией. В силу этого внушения все, что сказано ею в трехтомных “Записках об Ахматовой”, автоматически возводится в безусловность. А. Найман, правда, попробовал намекнуть: дескать, сходство копии, сделанной Чуковской, с оригиналом весьма отдаленное, Лукницкий, мол, работал тоньше. Но как-то уж очень мягко, расшаркиваясь и извиняясь, намекал. Между тем “Записки...” — как раз тот случай, когда нельзя принять ни одно суждение А. А. без поправки на художественные возможности Лидии Корнеевны. Летучие, наискосок, крылатые, легкокасательные, со множеством смысловых и интонационных полутонов, реплики А. А. она, увы, обводила старательно-грузной, ровно-нажимной линией. Лукницкий, тот понимал, как много в его передаче теряет речь Ахматовой и в красоте, и в точности12.

Лидия Корнеевна подобных оговорок почти не делала. Конечно, и она чувствовала “перепад высот”, но разность между ней и Ахматовой не представлялась такой уж значительной: “Как я боюсь, что я — Есенин относительно Блока. Лобовое и упрощенное раскрытие того, что у нее сложно”. Впрочем, не исключено, что, беседуя с Чуковской, А. А. слегка адаптировала самое себя, чего в разговорах с Лукницким не было. Все это я говорю вовсе не для того, чтобы умалить подвижнический труд, а для того, чтобы объяснить, почему не считаю корректным пользоваться без психологической экспертизы приведенными в “Записках...” суждениями Ахматовой о Блоке, кроме, разумеется, нейтральных фактов (вроде рассказа о том, как гимназистка Горенко принесла в класс “Стихи о Прекрасной Даме”, а первая ученица сказала: “И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца!”). Взять хотя бы такой фрагмент: “Этот человек очень не импонировал мне. Презирал, ненавидел людей. Как у него в “Дневнике” сказано про соседку: кобыла! Уровень коммунальной квартиры. Единственными людьми были для него мама, тетя, Люба. Безвкусные, мещанские... Если уж ты Лара, Манфред — сиди в башне, дохни, гори и не возись с людьми...”

О том, что смерть Блока А. А. пережила как личную утрату, свидетельствует Лукницкий: “Говорила о том ужасе, который она пережила в 1921 году, когда погибли три самых близких ей духовно человека — А. Блок, Н. С. и Андрей Андреевич Горенко”. Но был и другой Блок: покорный сын, племянник и муж, и этот второй Блок ей действительно *не очень-то импонировал*. А что получилось в передаче Чуковской? Блок-Поэт выпал в осадок, в результате и все соображение в целом спустилось “на уровень” выяснения отношений в “коммунальной квартире”.

И все-таки дыма без огня не бывает: и “Дневник” Блока, и его “Записные книжки” поразили многих блокопоклонников. Сошлюсь на эссе Б. Алперса (впервые опубликовано в “Исканиях новой сцены” — М., “Искусство”, 1985): “Люди, связанные в жизни давними отношениями с Блоком, наверное, были уязвлены тем, что они прочитали о себе в его интимных записях. В этих записях нет ничего оскорбительного. Но от них веет таким глубоким равнодушием, таким ледяным холодом, словно поэт пишет о букашках”. В сравнении со многими униженными и оскорбленными Ахматова могла чувствовать себя и избранной, и отмеченной. Но она, как явствует из записей Чуковской, все-таки уязвилась, хотя все, что открылось Алперсу только после прочтения дневников, ей было известно и раньше. “У него глаза такие, / Что запомнить каждый должен; / Мне же лучше, осторожной, / В них и вовсе не глядеть...” Не глядеть... чтобы не увидеть что? Однако не остереглась, заглянула: “Ты первый, ставший у источника / С улыбкой мертвой и сухой, / Как нас измучил взор пустой, / Твой взор тяжелый — полунощника” (датируется между 1912-м и 1914-м; вероятнее, 1914 год, не до, а после воскресного собеседования). Испугавшись, должно быть, того, что нечаянно увидела, Ахматова страшные стихи от самой себя скрыла — при жизни Блока не печатала.

Но и Блок, должно быть, что-то неладное все-таки заподозрил. Через два дня после визита “ведьмы с Лысой горы” написаны более чем странные стихи:

........................................  
Тем и страшен невидимый взгляд,  
Что его невозможно поймать;  
Чуешь ты, но не можешь понять,  
Чьи глаза за тобою следят.  
  
Не корысть — не влюбленность, не месть;  
Так — игра, как игра у детей:  
И в собрании каждом людей  
Эти тайные *сыщики* есть.  
  
Ты и сам иногда не поймешь,  
Отчего так бывает порой,  
Что собою ты к людям придешь,  
А уйдешь от людей — не собой.

Короче, “мотив поднятых и опущенных глаз” (как заметил В. А. Черных) и в самом деле “повторяется” в поэтическом диалоге Блока и Ахматовой в декабре — январе 1913 — 1914 годов, но только диалог сей — не любовный роман “вприглядку”. Не серый бархат очей примадонны “Бродячей собаки” волнует Блока, а опасно-“зорко” “видящий глаз” Дианы-Охотницы... Не думаю, что поэт еще в то малиновое воскресенье заподозрил, что за ним *следят* и что у воскресной визитерши есть какая-то *тайная цель*... Насторожился он уже потом, после ее ухода, после того, как написал портрет “гитаны гибкой” и поиграл со стеклярусом пестрой ее шали в “Итальянских стихах” (которые, кстати, как свидетельствует Чуковская, Ахматова называла “гениальными”). А какой гений сыска вмиг догадался бы, что смущающаяся, скромная до застенчивости, вмиг оробевшая дама-девочка — *тайная сыщица?* И вошла осторожно, и взгляды уклоняла, а сама, усыпив его напряженное, всегда начеку — не подходи ко мне так близко, “не тронь меня!” — внимание, следила за ним? “Есть игра: осторожно войти, / Чтоб вниманье людей усыпить: / И глазами добычу найти; / И за ней незаметно следить”.

Только тогда, похоже, и сообразил, когда заметил: каждый раз при столкновении с этой женщиной, к которой ничего и близко похожего на влюбленность не испытывал, стихов которой он не любил, хотя и отмечал с “тайным холодом”, что они “чем дальше, тем лучше”, начинает вести себя как сбитый с панталыку: задает дурацкие, бестактные вопросы (“Вы одна едете?”, “Вы, верно, потому звоните, что...”, “А где испанская шаль?”...). Словом, становится “не собой”. Но все это, повторяю, стало замечаться меж ними после 15 декабря 1913 года, а в тот морозный и солнечный день А. А. и сама наверняка не догадывалась, что явилась в строгий дом *у морских ворот Невы* с “нехорошей” целью: хищно надышаться закрытой на семь ключей душой Блока, похитить тайну его “чары” — словом, сделать эскиз, по которому несколько десятилетий спустя будет написан его *полный,* врубелевского размаха, портрет в “Поэме без героя”:

На стене его твердый профиль.

Гавриил или Мефистофель

Твой, красавица, паладин?

Демон сам с улыбкой Тамары,

Но такие таятся чары

В этом страшном дымном лице:

Плоть, почти что ставшая духом,

И античный локон над ухом —

Все — таинственно в пришлеце.

Это он в переполненном зале

Слал ту черную розу в бокале,

Или все это было сном?

С мертвым сердцем и мертвым взором...

Но это уже совсем другая история, а та, морская, которую они: он — уже почти мертвый, и она — живая, — разыграли и спели почти дуэтом, на шарманочный приморский мотив, кончилась еще при жизни молчаливого хозяина тихой и просторной комнаты. Точку в ее конце, игрою все того же случая, зафиксировал Корней Чуковский: “Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из „Всемирной”. Первый раз вижу их обоих (Ахматову и Блока. — *А. М.*) вместе... Замечательно — у Блока лицо непроницаемое, и только движется, все время зыблется, “реагирует” что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но *там* было сказано много”.

Поставив точку, я прочитала рукопись уже не своими, а читательскими глазами и увидела, что как бы и не ответила на неизбежно вытекающий из нее вопрос: если все вышеизложенное, пусть на уровне гипотезы, правдоподобно, почему Ахматова никогда “не проговорилась”, что границы ее херсонесских владений простирались так далеко — до местности около Георгиевского монастыря? И тогда еще раз перечитала ее “Записные книжки”. И нашла, и не намек, а прямое указание. В отрывке, который цитировали не раз и не пять, но без одной фразы. Эту-то фразу, ключ к смыслу шифра, как раз и купировали публикаторы. Не по небрежности, а потому, видимо, что сообщение, в ней заключенное, не поддавалось комментированию. Вот этот фрагмент и эта фраза: “Я как Птишоз с его женским монастырем, в который превратился его рай, его бумажная фабрика. *Херсонес, куда я всю жизнь возвращалась, — запретная зона*” (ЗКА, стр. 86).

Логика публикаторов понятна: исторический Херсонес никогда не был “запретной зоной”, уже в конце 20-х там открыли музей, в силу чего и предполагалось, что А. А. ошиблась или имела в виду что-то совсем другое, например, то, что Севастополь стал закрытым городом. Однако хищная память и в данном случае ее не подвела: накануне Отечественной войны хозяевами бывшего Георгиевского монастыря стали военные, официально — школа по подготовке “младших политруков”. *Запретной* эта зона оставалась и после войны: здесь до конца 70-х располагалась воинская часть *особого назначения*. Поэтому-то и Лукницкий в 1925 году, чтобы увидеть ахматовский Херсонес, берет напрокат моторную лодку, а не извозчика! “В Севастополе на моторной лодке ходил в Херсонес. В море был хороший ветер и сильная волна. В Херсонесе — торжественная тишина. Я нашел чудный глиняный черепок, привезу его Вам. Вернулся в Севастополь до ниточки мокрый и довольный прогулкой”.

9 Вот что писал Блок — мнимой — Гильде вскоре после знакомства с Ахматовой: “Есть связи между людьми совершенно невысказываемые, по крайней мере, до времени не находящие внешних форм. Такой я считал нашу связь с Вами... по всем „знакам”, под которыми мы с Вами встретились... Если это действительно так... то что значат такие письма, как Ваше последнее?.. Вы становитесь не собой, одной из многих, уходите куда-то в толпу, становитесь подобной каждому ее атому... Демон самолюбия и праздности соблазняет Вас воплотиться в случайную звезду 10-й величины с неопределенной орбитой... В нашем веке возможность таких воплощений особенно заманчива и легка, потому что существует некая „астральная мода” на шлейфы, на перчатки, пахнущие духами, на пустое очарование. ...Вам угодно встретиться со мной так, как встречаются „незнакомки” с „поэтами”. Вы — не „незнакомка”, т. е. я требую от Вас, чтобы Вы были больше „незнакомки”, так же как требую от себя, чтобы я был не только „поэтом”. Милый ребенок, зачем Вы зовете меня в астральные дебри, в „звездные бездны” — целовать Ваши раздушенные перчатки...”

О существовании этого письма А. А. узнала, видимо, в начале 60-х, когда стал выходить восьмитомник Блока. Иначе вряд ли бы появилась странноватая деталь во втором стихотворении ее блоковского триптиха — она сильно смущала даже такого преданного ахматовца, как В. Я. Виленкин: “И в памяти черной пошарив, найдешь / До самого локтя перчатки...”, да еще и раздушенные: “...в сумраке лож / Тот запах и душный и сладкий”. Не исключено также, что внимательно прочитанное послание к Скворцовой стало тем “прожектором”, который, осветив “подвал памяти”, добавил в план расширенных воспоминаний Ахматовой о Блоке, в главке “Вечер на Бестужевских курсах”, совсем, казалось бы, позабытую подробность: “Разговор о „Незнакомке””.

10 За этим журналом Недоброво следил с не меньшим вниманием, чем Ахматова, ожидая опубликования своей статьи о “Четках”. Впрочем, судя по письму Ахматовой к Гумилеву из Слепнева летом 1914 года, где она сообщает мужу, что ждет с нетерпением июльскую “Русскую мысль”, можно предположить, что в 1914-м этот журнал выписывали или Гумилевы, или кто-то из их деревенских соседей.